



Галина Николаевна Щербакова Эдда кота Мурзавецкого (сборник)

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=319682
Эдда кота Мурзавецкого: Эксмо; М.; 2010
ISBN 978-5-699-41779-7*

Аннотация

Если ваш любимый кот проходит сквозь стены – не удивляйтесь. Он просто путешествует в другие миры, видит давно умерших людей и... их котов, с которыми весело проводит время. Философствуя о жизни, мурлыча свои мудрые мысли вслух.

Кот затем и дан человеку, чтобы любимое прошлое всегда было рядом, не забывалось. В каждом коте – память миллионов, и когда он подойдет потереться о ногу, задумайтесь: может, он зовет вас в путешествие, которое изменит вас навсегда.

Новые повести Галины Щербаковой – «Путь на Бодайбо» и «Эдда кота Мурзавецкого, скальда и философа, о жизни и смерти и слабые беспомощные мысли вразброд его хозяйки» – вошли в эту книгу.

И возможно, им суждено если и не изменить вашу жизнь навсегда, то хотя бы на несколько часов сделать ее прекраснее.

Содержание

ПУТЬ НА БОДАЙБО...	4
СМЕРТЬ ПОД ЗВУКИ ТАНГО	14
Бомба с лицом пионера	14
Смятение... хаос	18
Кто?	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Галина Щербакова

Эдда кота Мурзавецкого

ПУТЬ НА БОДАЙБО...

...закончился на пересечении улиц Лесной и Газопроводной. Семантически правильно, что Газопроводная именно в этом месте распарывала Лесную на две половины. Место было тихое, мягкое, уютное. Его полагалось раскромсать, что и было сделано согласно проекту дурной силы человека, железа и трубы.

Ее отбросило в тишок бурьяна, верного спутника всякой дороги, хоть умной, хоть глупой. С момента, как ее садануло левой фарой так, что глаз принял в себя свет последней звезды, сколько-то времени прошло. Может, минута, может, полторы, а может, и двадцать секунд. Никто ведь не знает, сколько времени уходит на то, чтоб вспомнить это дурное слово Бодайбо, вернее, собрать с неба рассыпанные буквы и сложить их в рядок последним своим дыханием.

А может, все было не так. Потому что как никто не знает ужаса или восторга рождения там или смерти. Все это вещи абсолютно неведомые. Всю жизнь двуногий идиот-человек ставит перед собой черт знает какие задачи – погубить лесную улицу, чтоб набрать машину дров, прыгнуть в небо, чтоб оставить там в нем свой пердячий пар, вспороть брюхо амебы и обнаружить, что она живая. Да мало ли чего может сделать человек, оставаясь кретинном в вопросе, кто он есть сам? Зачем и к кому пришел? Кто его звал? Обезьяна ли он или божьими пальцами слеplен? Поэтому оставим это. Примем на веру небо, рассыпанные буквы и последнее усилие девчонки собрать их воедино в дурачье слово Бодайбо.

Васену Таранову хоронили на кладбище, в которое всей своей широкой мордой уперлась улица Газопроводная. Как же ей хотелось, улице, рвануть дальше и по гробам, по гробам, но почему-то ее не пустили, оставив лизать бедные гранитные крайние оградки давно забытых предков.

Улица затихла, но ждала своего часа, когда ей скажут «вперед», и уж тогда она рванется, исторгая из земли кости. Тоже мне проблема.

А пока кладбище тихо приняло в себя Васену, на другом конце в землю был опущен один старичок, зарезанный бритвой в парке во время гулянья. Две могилы – это для нас уже давно никакая не печаль. В одном месте стрельнули, в другом высморкались – и вся недолга. Милиция списала со счета две случайные смерти, от машины и неизвестной руки. На том и истории конец.

Никто у нас людей за людей не считает. Такой мы народ. А может, мы и не народ вовсе? Может быть, мы нечто нечтное? Умирающая неизученная порода? Нелюбопытная к себе самой?

Вот, к примеру, встрепенулась бы (или нет?) эта порода, узнай, что старичок был зарезан девочкой Васеной на ее славном пути отмщения в сторону Бодайбо? А старик, наоборот, пришел сюда замолить старый грех, который, может быть, был оставлен им где-то здесь, а может, и нет. Но пусть не весь грех, а след его старому придурку хотелось найти. Ну, кто этому поверит? Еще месть как-то частично понятна, но замаливать грех?! Да не те мы люди. Сроду ничего не замаливали. Все так живут. Неотмщенные и неотмоленные. Делов...

Все мы – очередь. Все мы – мат и грязь. Все мы – пьянка. Но, будем справедливы, все победим в любой войне, все выживем в экстремале таких оттенков и видов, что другие бы все – сдохли. А мы еще ничего себе, держимся...

На фиг – всех!

Мы про одного, вернее, одну. Девочку, в которой по непонятной причине выросли гнев и возмущение. И она пошла на Бодайбо. Ну, уж если разбираться – так разбираться. Начнем, благословясь, с амебы, которая, зараза такая, имеет свойство делиться, делиться и делиться, не в смысле «на тебе – мне не жалко», а в смысле повторять самую себя до бесконечности. Вот и начнем с далекого, но пока еще видимого начала. С прабабушки Васены Елизаветы, которая родилась в тридцать первом сразу при двух бедах – голодоморе и тюрьме.

У крохотули весом в три двести первое, что было перед еще несообразными глазами, – это решетки на окнах, а в дверях – человек с ружьем. Вот это меня очень занимает. Просто до смеху! Тюремная больница, раскоряченные беременные и охрана с командой «стрелять» при любой попытке. Тут «любой» особенно интересное, можно сказать, слово. Но попытки не было. Вытолкнув из себя отягощающее бремя, заключенная под номером, не знаю уж каким, тут же отдала богу душу, хотя – кто знает! – может, не богу вовсе, а этому мокрому комочку, с перепугу молчащему, почему ее и взяли за ножки и потрясли как следует, дуру такую, пока не пискнула, а потом уже совсем зашлаась криком.

Не надо думать лишнее. Не надо. Девчонку в тюрьме не оставили. На нее дела не было. И ее, завернутую в незнамо что и названную Елизаветой, отдали ее бабушке Катерине. Остановитесь на красоте имен Елизавета, Катерина. Так и хочется подтянуться, но тут же присесть и, сделав книксен, произнести: «Ваше вы наше высочество». Но не будем заикливаться на прекрасном. Тюремное дитя попало туда, куда попало. К бабушке своей. Которая все слезы выплакала за дочку, у которой ни жизни, ни смерти человеческой не случилось. Лиза попала в саманный домик на две семьи. Их половина смотрела на север, и чтоб девочка видела солнце, бабушка выносила ее во двор, в ту его часть, что не была покрыта тенью. Девочка лежала в цинковом корыте, конечно, не прямо на цинке, а на двух подушках, которым было явно тесно, но время, чтоб считаться с подушками, удобно им или нет, еще не пришло, да и вряд ли придет. О живых еще не научились думать, а уж о такой чепуховине беспокоиться – ума не иметь. Бабушка Катя было не жена, не вдова, то было время многих неопределенных по паспорту женщин, и работала на шахте – гоняла вагонетку с породой, то бишь не с углем, а с пустым камнем. А малышка лежала в цинковом корыте и сосала себе хлебушек, в марлечку завернутый в виде соски. Лежи, дите, почмокивай! Год был трудный, ели всякую дрянь с земли, сыроежки придорожные, крапиву и черные сухари, их, слава богу, было в достатке. Бабушка ни одной недоеденной корочки не выбрасывала, сушила, приговаривая: «Сами не съедим, мышам достанется». Но мышам не доставалось. Все жили плохо.

Но шло время – стали жить получше. Бабушка все толкала вагонетку, внучка после корыта стояла в загородке, где у тех, кто побогаче, жили поросята или птица, а у бабушки рос человек. После работы к бабушке заходила соседка Мила, и бабушка вспоминала дочку и тихонько кляла время.

– Забудь, – говорила ей Мила. – И не очень распускай язык. Смотри, какие у нее ушки на макушке. – И она брала Лизу за уши и трепала их.

– Вот об ней-то душа болит, – плакалась бабушка.

– Ничо! Проскочим! Мы с тобой немытое быдло, что с нас взять.

– Чего это немытое? Я за собой слежу, – обижалась бабушка.

– Да знаю я тебя! Твои штаны, как флаг, всегда на веревке.

«Флаг» – слово известное всем! Стоит свернутый в углу. Осенью и весной его вешают над хатой. Чтоб знали, где живем. Это все еще до войны было. А со временем в клубе заиграли танцы, уже появлялись барышни в фельдеперсовых чулках и отрезных платьях. Но малышке это было еще пока без разницы, ее кормили жидкой кашей на полуводе-полумолоке от соседской коровы. Бабушкина коза как-то быстро сдохла, слабая оказалась телом. Девчонка росла, что называется, никакая. Ножки тоненькие, волосята жидкие, сопли бесконечные, по телу парша. «Я таких детей сроду не видела, в ней же нет жизни». Это баба

Катя вспоминала свою толстушку дочь, какой она была до того момента, как за ней пришли. Парень ее где-то что-то ляпнул про голод и матюкнулся про коллективизацию, а она, дура, возьми и подхвати и передай товарищу. «Тюрьма ее съела, – думала бабушка. – Ей нельзя было рожать». Тоже мне мысли, когда вокруг ног уже бродит девчонка, куда ее денешь, какой бумагой спишешь? Она уже не живет в загородке. Бабушка оставляет ее в хате, строго требует, чтоб никому не открывала дверь, кроме Милы. «Если ты увидишь ее в окошко всю, от макушки до пяток. А не так, чтоб голос сказал: «Я – Мила», а ты и открываешь. Контролируй голос глазами». А тут и случись война. Шла, шла и пришла. Уже стреляли где-то близко, потом все затихло, а к ночи залопотал поселок немецким голосом, а Лизе уже приспичило в третий класс, да заболела корью. Ну и оставили девчонку на год дома. Как-то привычней, а со школой при немцах новые мороки. А тут еще этот хромой шофер стал ухаживать за бабушкой. Ну, как-то так и сладилось бы, но он оказался пьяницей. Пили у них тогда все поголовно, но этот пил, что называется, в черную смерть. Полез пьянящий в машину, ну и с концами: ничего от себя не оставил. А ведь была надежда, что с мужиком, может, и легче будет, с откатки уйдет на работу полегче, вдвоем будут внучку подымать.

– Дура ты, – сказала ей Мила. – В полсотни лет размечталась. Скажи спасибо, что одна.

А вскоре наши вернулись. Как без боя сдали, так без боя и вернулись. Главную мыслью стало – кончит Лиза семилетку, выучится на портниху. ФЗО с таким профилем у них было.

– Какую-никакую юбчонку, – говорила ей бабушка, – сама себе пошьешь. Не говоря о том, если кому что подрубить, простыню или наволочку... Я как знала, машинку «Зингер» берегла пуше глаза.

Бабушка, возвращаясь вечером со второй смены, как раз проходила мимо танцулек и видела в открытые окна клуба другую жизнь, и такое ее разбирало зло, что однажды она не выдержала и запустила в окно камень и успела убежать до чьего-то крика. Ах, как хорошо было бабушке в этот момент! И ей мечталось счастье внучке. Об себе уж какие мысли. Даже четырехлетку не кончила. Но были и другие воспоминания. У счастья бывают странные заходы в жизнь. Может быть, и такой. Для ясности истории скажем. Был у бабушки солдатик с еще первой империалистической – иначе откуда бы взялась дочка, что умерла в тюрьме, – судьбой занесенный на юга России. Говорун и хохотун. Пара анекдотов, пара фокусов на картах – и в шестнадцать лет на сеновал. Без обещаний и всего такого. А потом раз – и исчез. С вечера зачем-то складывал в сумку хлеб и шматок сала. Вот бы ей и спросить зачем? Но ведь дело шло к ночи. К сеновалу! Такому сладкому, что аж заходится все внутри. Но это был последний сеновал, а через девять месяцев родилась дочка, та самая, что умерла в тюрьме родами. Теперь бабушка думает, чем накормить внучку, и радуется, что в доме их не пахнет мужиком. И с войны никто не явится. Но тут же и взрос мужчина. Молодой такой парень, дошел до Берлина и шел теперь обратно. Сам шел с интересом к жизни, к народу, к барышням. До Урала было еще о-го-го. Ему нравился этот путь с войны. Где на день пристанет, где на месяц. Бабушке бы напрячь свою память и примкнуть калитку, ан нет... Она, старая дура, как свою молодость проживает, глядя, как Витек щиплет за задок Лизку. Он же насытился досыта новым для него типом девушки и сказал, что надо «как положено» навестить и родителей, а потом он вернется, и они начнут строить уже свой дом с окнами на юг и посадят сад, и чтоб вишня цвела под окнами. Он такое видел за границей. Заморочил девке голову советский воин, оставил фальшивый адрес, и только его и видели. А когда его и след простыл, поняла Лиза, что не весь ушел старшина, а оставил ей кое-что существенное. Она, дура, обрадовалась и даже отбила телеграмму по оставленному адресу: «Приезжай скорей нас будет ребенок». Для точности скажем – адрес был взят старшиной из головы, но конкретно существовал. Жили, правда, по нему не Ливановы, а Ивановы, и был у них парень, тоже вернувшийся с войны, естественно, подходящего для делания детей возраста. У него мать была с понятиями, ибо росла в поповской семье. Она ухнула в обморок,

потому как была уже назначена свадьба сына, а тут такой срам. Парень, что называется, ни сном ни духом. Туда-сюда вертит телеграмму. Шахтерск? Да он сроду даже названия такого не слышал, не то что там быть... Ты чё, мать, зашла? Какая-то ошибочка вышла. Видишь, Ливанову Виктору, а я кто? Я Виктор, но Иванов. Мать не поверила и спрятала телеграмму, ее нашли уже после ее смерти, но это мы узнаем потом, пока же новая девочка-безотцовщинка сосет марлю с хлебом, даже пузыри идут от ее удовольствия. А бабушка и мама, глядя на нее, выбегают на остановку автобуса, который пустили только-только как раз от станции. Это они ждали Виктора после того, как послали телеграмму в город Троицк, улица Ленина (а кого же еще), дом 16, кв. 2. Виктору Ливанову.

– Ты сама, что ли, писала адрес? – спрашивает уже прабабушка, не уверенная, что Лиза ничего не напутала.

– Вы не знаете, где находится город Троицк? – вежливо спросила Лиза библиотечаршу. Но откуда было той знать? Ее в библиотеку посадила мама, завгороно, сразу после школы. Конечно, мама очень хотела, чтобы дочь поступила учиться, хотя бы в техникум. Но дочка Нюся была из тех девочек, которые боятся на свете всего: молнии – убьет, мужчин – изнасилуют, поездов и машин – задавят, собак – укусят, незнакомых людей – тут уж все, что угодно, и укусят, и задавят, и убьют сразу. Поэтому библиотека, которая располагалась рядом с домом – перешагнула штакетник и дома, – была идеальным местом для Нюси. Опять же люди приходили в библиотеку тихо, деликатно, а шумных мальчишек она просто не пускала. Ее аттестат был единственным подарком для матери. Только по математике, физике и химии ей осмелились выставить тройки, заранее обсудив с начальницей этот вопрос. По всем остальным поставили четверки, а по поведению и физкультуре – пять. Сама завгороно сильными знаниями тоже сроду не отличалась. Ей подфартило с войной, которая поубивала специалистов, а другие уехали в эвакуацию, но так и не вернулись. Она прильнула к горкому партии, но была неэнергична и неинициативна, а гороно – это же не план по добыче угля, это не борьба с послевоенной преступностью. Вот и сделали ее завгороно. Ее долг следить, чтоб воспитание детей шло в нужном русле, чтоб радовались победе, а не обсуждали перебои то с тем, то с этим. Опора ее – директора школ. С них весь спрос. И она ходила по школам, честно триндя про то и это. А если ей говорили, что школу топить нечем и учебников нет, очень сильно обижалась на непонимание. С ее подачи трех директоров, настырных и требовательных, сняли и посадили. Других, которые без претензий, перевели в завхозы. И она поняла, в чем ее сила – в доносе на несогласных. Была бы хоть малепусенькая возможность поставить ее Нюське все пятерки – сделала бы на раз. Но больно тупа была девица. К тому же какая-то больно запуганная. Ходили слухи, что мать ее порет по вечерам, даже как бы слышали визг. Но нет. Чего не было, того не было. Просто девчонка была размазня. Потому и сидела в библиотеке, в которую вообще-то и ходили редко, а чтоб пялились на географическую карту на стене – так это был первый случай. Из ее же школы пришла девчонка, класса на три меньше.

И теперь стали две дуры искать по карте Троицк, ладонями мацая карту.

– Он сам писал адрес, – почти плачет Лиза, – посмотри, – и показывает ту, что и бабушке, а теперь вот Нюсе бумажку с адресом. Нюся вся аж дрожит от любопытства, а это последнее, почему рождается в ней где-то внизу живота и мучает до стога. Но она сдерживается, потому как ей стыдно. Она ведь знает, что у Лизы в животе ребеночек вот-вот, и поиск неизвестного Троицка как-то с ним связан.

И они лапают карту, лапают. А бабушка Катя дома кричит другое: «Пиши письмо, балда, телеграмма – бумажка, могла затеряться. Анюте уже скоро пять месяцев и вся в отца. Не отопрется».

Тут хочется снова сделать «именную» паузу. На имени Анна. Простое имя, другого не скажешь, но и скажешь тоже. Также ведь царское имя. Никто не делал это специально, но все несчастные убогие женщины этой семьи носили гордые имена. Анна, Екатерина, Елизавета.

Так получилось само по себе, будто нарочно подчеркнуть, в какую бездну можно рухнуть и при царском имени. Как будто нарочно было наговорено: так вам всем и надо, сраные царицы.

Но бабушка с внучкой без именного понятия. Анюту они обозвали в честь анютиных глазок, такой сине-зеленый колер. Но это а пропо. Между прочим, если захочется поразмышлять над превратностями судьбы-индейки.

И бабушка корявыми буквами сама написала письмо уважаемому Виктору Ивановичу. А Лиза, держа в руках девчонку, думала, что сроду не видела никаких документов у мужчины сверху, а вот в слове Троицк засомневалась. При первой встрече он сказал: «Я из уральских шахтерских краев. Копейские мы. Вот посмотрю на будущее, как у вас тут дела идут». Ничего он не смотрел, кроме приятностей барышни, заморочил ей голову словами о ее как бы красоте, что Лиза прямо ошалела: надо же, она и не думала, что она – такая. А вот сейчас вспомнила – Копейск. А в адресе что? Троицк. Снова пошла в библиотеку и снова попросила карту Советского Союза, но поболее. «Ослепла, что ли? – ответила библиотекарьша. – Вот новая, вся на стене. Мама говорит, такая только в горкоме». И стала Лиза снова ползать глазами и ладонями по новой карте, как муха в панике по стеклу. Конечно, семилетка у нее была. Серенькая такая, троечная, но большой карты она сроду не видела, в класс принесли маленькую, всю измятую и с оторванной Австралией карту и вешали на гвоздок школьной доски. Объясняя что-то связанное с великими путешествиями, учительница рисовала Австралию мелом в углу доски. Так и учились. Но где жили они, ребята знали хорошо. Это место было обведено жирным карандашом. Встав на цыпочки, Лиза нашла Ростов и речку Дон, там должны были быть и Шахты. А куда теперь, думала она, размазывая пыль.

– Смотри, – сказала Нюся, – какая смешная речка – Увелька.

– Так вот же он, – закричала Лиза. – Вот он, Троицк!

Чепуха, а не расстояние между ними на карте для библиотек и горкомов, все впри-тык, все едино, как и полагается в великой стране. Конечно, некий просвет в голове у Лизы произошел. Во-первых, военная контузия у Вити была. Она слышала, у оглушенных такое бывает, вместо одного на язык выскакивает другое. Сразу ли он сказал «правильно» – Копейск, или ошибся во второй раз, это неизвестно. Вот с улицей ошибки быть не должно. Улица Ленина – это все равно что маму зовут мама. В общем, карта принесла в сердце Лизы покой и радость. Улица Ленина поставила все на свои места. Бедного Витеньку война ударила в голову. Это поправимо. И, не возвращаясь домой, Лиза отбила аналогичную телеграмму в г. Копейск. Откуда ей было знать, что как бы уже по правильному адресу сроду никаких Ливановых не было.

– Ладно, – говорит уже в свои пятнадцать-шестнадцать правнучка Анюта. – Я знаю, что было дальше. Наизусть знаю... – Передразнивая прабабушку, она тараторит без запятых и точек. Ислалабабаняслалателеграммыичерез– милициюискалакаквводучеловекканулатырас– тешьирастешьбезпонятиячтосиротаасиротская– доляопределяетжизнькрепконакрепкокакма– шиннаястрочкадрык-дрык-дрыквотличиеот– иголки.

Баба Катя кивает головой, да, мол, точно, и стрижет Анюте ногти на ногах, как в детстве, хотя сейчас девке давно уже семнадцать.

– Какой еще педикюр, – закричала на Анюту мать. – Ты что, поблядушка?

Мать – горе всей Анютиной жизни. Если бабушка просто заговаривающаяся дура без понятия о жизни (раньше на хлебушек колбаску от– дельную уложу исчаемничеголучшенету), то мать обло, озорно, огромно, стозевно и лайя. Эти слова их заставила выучить училка, мол, такова в России была раньше крепостная история жизни, зарубите себе на носу! Круглые словечки как-то сразу взмахнули крылышками, в момент облепили мать и остались на ней навсегда. Знала бы бедолага Лиза, что она для дочери хуже крепостного права, при-

била бы Анюту недрогнувшей рукой. Она ведь лупила ее с младенчества, считая, что этим единственным способом можно воздействовать на природу.

А тут возьми и умри баба Катя. Шла с ведром, остановилась и осыпалась оземь, вылив на себя воду. Лиза была еще дома, ей было во вторую смену в пошивочный цех. Шили робы для шахтеров, грубые такие, из брезентухи. Сказать, что случилось горе, да нет же. Друг на друге жили в пятнадцати метрах комнатенки и кухне шаг туда и обратно. Одна печаль, что теперь ногти на ногах некому будет стричь. Баба Катя в этом смысле всех разбаловала. Ну, в общем, похоронили. В этом смысле все просто, в землю – и точка. Тут главное – равенство, одно для всех. Конечно, сверху можно наворотить всякого, памятники там, лавочки-мавочки, чтоб было где присесть с леечками. Но это уже не принципиально. В сущности, все в одинаковой земле. Мать Лиза настаивала, чтоб Анюта училась дальше. У них как раз открылся педтехникум.

Выучили ее на учительницу младших классов. Хорошо? Да не очень хорошо. В первый же год молодая училка забеременела от десятиклассника-переростка. Город просто раком встал. Все на своем веку город видел: сросшихся младенцев у жены второго секретаря райкома, провалившихся в глубину на ровной земле велосипедистов, горящую маковку церкви и страх, что это сам сатана пришел их прибрать к рукам и теперь по одному из каждого двора кажинный день будет умирать человек. И так и пошло-поехало. Трое померли. Хотя и так бы померли, старые были и больные. Но как-то же надо было объяснить горящую маковку как сатанинский ход, ни у кого же не хватило ума полезть и посмотреть, что там на старухе-церкви огнем зашло и отчего. В общем, городок небольшой, замшелый, но чудеса и всякие ужасы в нем бывали. Но вот чтоб учительница родила от ученика?! Это было пуще горящей маковки и сросшихся младенцев. Ну конечно, из школы училку турнули, кто ж на такое будет смотреть глазами? Анюта, то бишь Анна Викторовна как-то в беседе с педагогами в свою защиту употребила слово любовь и получила по голове учебником по алгебре от директора школы.

– Ты еще смеешь такие слова говорить? – шипела директор. – Где ты видела, тварь, чтоб учеников любили таким способом? По своей подлой крови судишь?

Вот так родилась лупатая и горластая Васенина мать, которую долго не знали как назвать. Лиза полезла в святцы, а там это имя, господи прости, Домна, ну и промолчала бабушка. «Хай шо хочуть, то и роблят». И назвали грешное дитя модным середины шестидесятых именем – через раз шло – Катей.

– Так это у нас уже было! – сказала баба Лиза. – Ногти нам всем стригла.

Но при чем тут это – если модно. Даже по радио говорили, мол, почти каждую вторую там или третью нарекают Катей. Та, что в могиле, отношения к этому не имеет.

Это уже потом ее внучка в пятом или шестом классе отметила царский след в именах. «Это раньше были царицы, а сейчас всякая шваль напяливает на себя их одежки». Внучка своим именем была довольна. Василиса – имя заколдованных лягушек. Может, сбудется хорошее? И обернется чудом счастья?

Поскольку, окромя чудес, надеяться было не на что, бабка Аня принохивается к растворимому кофе, оно, сволочь, не пахнет коммунизмом. Зарплата уборщицы – на этом месте оставили Анну, когда юный любовник уехал в Москву и стал студентом – меньше самой меньшей. За ней же, грешницей, следили все по очереди, оберегая от нее старшеклассников. Потом, правда, забылось.

Померла баба Лиза, царство ей небесное. Тихо померла, незаметно, как когда-то ее мать, родив ее. Памяти о себе не оставила даже такой, как стрижка ногтей. Правда, ходили слухи, что она в сшитых ею робах бродит ночами. У нас скажут и не такое.

Катя же так и работала гардеробщицей поликлиники. Это после того, как не поступила в медицинский техникум. Вот уж нет лучше места, где можно оттянуться на больном человечестве во всю силу «лайя».

Васена давно поняла: взять мать замуж мог только идиот или чтоб ног там не было или рук. Васену последние годы собственное происхождение не то чтобы занимало, она его знала, оно ее будоражило... Ну, вот как в детской игре, когда надо переступать через веревочки, туда-сюда, туда-сюда. И случается, что заклинят они тебя, эти заразы, топчешься, топчешься, тянешь ногу вверх – и тянутся за тобой все нити. И как говорил один парень, в таких случаях годится только «понос слов». Однажды ее вырезали из веревок ножницами, и шел этот самый бурный понос слов.

Васена учится, только чтоб от нее отстали. И никто не знает, что девчонка через всю кривизну жизни и матери, и бабки, и дальше глубже и глубже вычертила жирную прямую. Она видела такую на карте железнодорожных путей от Москвы до Иркутска. Черная такая дорога, почти без зигзагов, через горы, реки и долины, мимо странных, но не случайных по названию городов Мама и Бодайбо. И первую голову на пути локомотива «Васена» она отрежет в первый же день. Эта голова – два уха с лысиной в полбашки принадлежит ее отцу. В отличие от ненайденного когда-то Иванова-Ливанова с улицы Ленина лысый человек известен и живет, считай, наискосок, если опять же не вилять, а провести прямую. Он в городе не хвост собачий. Он у них светило-мудило по части зубов и десен.

Бабушка – не мать, эта после родов замолчала на всех сразу именно на эту тему, рассказала Васене, как все было. Значит, дурочка-мать вообразила, а ей это дано, что станет врачом и ни больше ни меньше. Ну и навернулась, конечно, на первом же вступительном. И не то что там тройка, а конкретная пара по конкретной теме «Герои-комсомольцы советской литературы. Идеал и цель». Мать говорила, что написала все правильно, она другого не знала, а это у нее от зубов отлетало. Ну, в общем, отлетело на пару. Но мать еще была настырная. Она узнала, что у стажников конкурса, считай, не было. Их брали за так. И она устроилась в поликлинику гардеробщицей. Имея в виду дорости до санитарки, а может, и медсестры. «Старалась, – вздыхала бабушка. – Этот ей пообещал. Этот только начинал работу в зубном кабинете. А что такое зубы для человека? Это еда, еда и еще раз еда. А значит, и работа». Правильно, объясняет бабушка Васене, зубные врачи – самые богатые. Рак ты можешь в жизни и не получить или там инфаркт, а зубы всегда при тебе, и без них ты ни тпру ни ну. Бабушка тонкостей отношений дочки и доктора не знала. Правда, кое-что заметила. Катке вдруг захотелось джинсы, а у них на эту тему был запрет: «С каких таких денег у нас они могут быть?» И дочка вдруг выпали: «А я что, не зарабатываю?» – «Так это же две твои зарплаты на одни штаны, – закричала бабушка, – а у тебя зимнее все на исходе. Пальтишко – срам». Но покладистая и тихая дочка такую дала свечку, что баба Аня, помнящая о своем, пусть и маленьком, педагогическом образовании, сочла возможным дать Катке оплеуху, получила в ответ визг и крик и, собственно, на этой высокой ноте обиды они и остались навсегда. Как потом вычислила Васена, в эти самые дни «джинсов и напморде» что-то у матери с врачом и случилось. Видать, он ее пожалел...

Только когда эти чертовы джинсы перестали застегиваться, «эти две дуры» – Васенино выражение – спохватились. И, на Васенино счастье (в смысле, что она все-таки родилась), доктор как бы согласился жениться. Приходил в дом и говорил бабушке, что он не какой-нибудь там пошляк, что у него есть понятия, а также совесть и честь. Бабушка от этих слов сплыла в полную лужу и о такой малости, как регистрация, спросить постеснялась. А тут некстати поспели какие-то курсы по повышению квалификации в области. Доктор сказал, что это важная часть его роста по службе, собрал чемоданишко, и так его и знали. Катка уже была на шестом месяце, когда узнала, что он прислал заявление об уходе. Она тоже получила от него письмо, единственный уличающий документ. Он писал, что в связи с тем, что

предстоит ребенок, нужно ехать работать в места, где платят лучше, например, в сторону БАМа или Севера. Есть у него приятель в Бодайбо, как сыр в масле катается. Зовет, говорит, мужики-специалисты очень даже нужны. Ну не могло не торкнуть Васену это дважды возникшее Бодайбо – в письме и на карте. Она попросила у матери фотку отца, но та развела руками, нету, мол... И тогда Васена всколыхнула нижний ящик шифоньера, где лежало прошлое, разные там бумажки и фотографии. И не поверила глазам – мужчин среди них не было. «Сплошной женский род, без мужского, – вдруг открылось Васене. – Ни дедушек, ни прадедушек». Вспомнилась ботаника – размножение почкованием или чем там еще. Стала перебирать свой класс, у половины девчонок отцов не было, но у большинства хоть алименты шли, у нее же – ничего. Почему-то стало стыдно, не понятно почему. Что он сделал для ее будущего, так называемый отец? Он не пошляк какой. Так излагала тему бабушка. Во всяком случае, употребленное слово «пошляк» в связи с доктором врезалось в голову. Не какой-нибудь пошляк... Красиво звучит, между прочим. Васена уже потом, в школе, спросила учительницу литературы: «А что это такое – пошляк?» Она увидела, как занервничала учительница, туда-сюда, зырк-зырк... «Ну, это значит. Это значит... А в каком контексте?» – «А что такое контекст?» – на вопрос вопросом ответила Васена. – «В смысле всей фразы...» – «Я без фразы... Просто слово». – «Хорошо. Но это не по теме... Не будем отвлекаться. Я объясню тебе потом».

Потом не было. Обе забыли, чего хотели.

Слово же стало попадаться чаще и чаще. И всегда было понятно по смыслу. Плохой был смысл. Исчезнувший куда-то в направлении, скажем, Бодайбо доктор и был тем самым пошляком, потому что шляк – палка, а пошляк – это тот, кто бросил палку и вышел вон. Ну, так или близко по смыслу, выуженному самой Васеной из всего ей известного. Оказывается, и она чертила прямую типа Шахтерск – Бодайбо, а потом поняла, что оно – это Бодайбо – и есть смысл ее дальнейшей жизни. Крохотный, ни в чем не повинный в ее жизни городок стал названием цели. В некоем Бодайбе она мысленно находила старика-прадедушку с победоносной войны, скороспелого школьника и врача-зубодера времени зацвета социализма, и там, на Бодайбе (условно), она их казнила. Только полное отсутствие на земле этих трех обеспечивало Васене полное дыхание и право жить дальше, где она – естественно! – станет Василисой Премудрой, богатой, счастливой умелицей. Она будет кормить бабку и мать всю их оставшуюся жизнь финским сервелатом и настоящим кофе, а не в жестяной банке. Это для счастливых видений. И еще она купит бабке то, о чем та всю жизнь мечтала, как о счастье: васильковый костюм джерси, чтоб воротник и обшлага были в крупную обвязку, и пуговицы круглые, перламутровые с четырьмя дырочками.

Мать же она будет кормить норвежской семгой, порезанной толсто-толсто, чтоб ее можно было брать руками. И поить грейпфрутовым соком, самым что ни на есть кислым, с маковой сдобой. Матери же она купит джинсовый костюм, отделанный кружевом, и чтоб юбка была из косых клиньев.

Таким был план «Бодайбо».

К тому времени, с которого мы пошли, Васена уже забросила разные письма по розыску. Ответов не было никаких. Тоненький Васенин писк в системе полного человеческого раскардаша был не слышен. И то! Целая держава сыпалась в муть, человеческие особи только успевали хватать разверстым ртом воздух. Плохое время выпало Васене для восстановления справедливости и исправления судьбы. Но кто же из нас бывает помечен счастьем избрания эпохи и страны? Барабан рождений и судеб так давно стоит на автомате, что спроси его, чем он занимается, растеряется барабан и не ответит, а может, скажет, что он водокачка или там мельница. Конечно, и мельница, и водокачка тоже верно. Просто где-то должен быть спрятан смысл, но человек там не звучит гордо. А если подумать, то и с какой такой стати так ему звучать? Чем ему быть гордым? Ну, чем? Васена таких вопросов не задавала, в сем-